

МАРГАРИТА АНИСИМКОВА



## ДРОВОКОЛ ГОША

РАССКАЗ

Два дня шел затяжной дождь. Тополь на взгорье за одну ночь сбросил с ветвей все листья, и, не успевши подсохнуть, они скоро смешались с грязью под подошвами бродней, сапог и калош.

Почернели во дворе поленицы, изгороди, бревна, конюшни и сарай. Отошло наше счастье бегать босиком.

Мама утром сказала, что будет нам выводить цыпки. Колька, у которого они не проходили все лето, сразу залез на печку, прижался в самый угол и что-то бурчал под нос. Я тоже пригорюнилась.

Гляжу на шесток, где в большом черном чугушке вода закипает: веселые пузырьки по поверхности бегают, новые появляются. Гляжу на чугунок, сразу ноги под лавку прячу, ежусь, знаю — вода для наших ног готовится.

Цыпки на ногах появлялись с самой весны, когда мы, сбросив стоптанные обутики, начинали бегать босиком. От воды, ветра, пыли и грязи кожа на ногах трескалась, появлялось множество крохотных ранок. Вначале они кровоточили, потом подсыхали, потом снова кровоточили и снова подсыхали. Иногда после бани мама снимала с крынки отстоявшегося молока сметану, смазывала их, но этого лечения хватало только до утра.

На цыпки мы не обращали внимания и с радостью топтали сельские тропки-дорожки.

Но вот загремело большое стиральное корыто, паром окутался угол избы. Мама тряхнула в котелок какой-то порошок — вода порозовела.

---

*АНИСИМКОВА Маргарита Кузьминична родилась в Свердловской области. Почетный гражданин городов Нижневартовска и Ивделя, Почетный гражданин Ханты-Мансийского национального округа, ее именем названа одна из улиц Нижневартовска. Член Союза писателей России, лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского национального округа в области литературы за роман "Наледь". Живет в Нижневартовске.*

— Толкайте ноги в марганцовку, — скомандовала она.

Колька завопил, запричитал, сползая с печки, Юрка за ним:

— Я лучше в бане отпарю. Честное слово! Пусть сначала Шурка толкает ноги, — стонал он.

— Шурка не маленькая и цыпок нет, — строго ответила она.

Но в эти минуты много с мамой не наговоришь. Зажмурив глаза, Колька стал медленно погружать ноги в корыто. Вначале крихтел, стонал, но скоро стал помогать Юрке и всем корчить рожи.

Мама, присев на корточки, крепко взяла его за ногу...

— Не дури! — сказала строго, подливая из чугуна кипяток и намазывая мочальную вехотку.

— Не с меня, с Шурки начинай! — снова завизжал он, жмурясь.

— Шурка са-ма вы-мо-ет. Не маленькая, — говорила мама нараспев.

— Я тоже не маленький! — ерзал он на лавке.

Но напрасно сопротивлялся. Мама уже крепко держала его ногу, качала головой, ощупывая багровый шрам возле мизинца.

— Это я давным-давно на стекло наступил. Уже проходит. А вот рядом царапинка от гвоздя, — пояснял он маме все ссадины на ногах. — Помнишь, я хромал до обеда?

— Постыдись причитать-то! — оговаривала его мама. — Смотри, и Юрка и Володька, и Шурка все с тобой рядом.

— Разве они столько носятся по улицам, как я? Думаешь, они носятся по скалам? На совхозные поля бегают? В ночном хоть раз были? — не сдавался Колька.

Мы все четверо сидели на лавке рядком, смотрели на цыпки, уже смазанные сметаной. Колька потихоньку охал и махал ногами.

— Слышите? Кто-то чужой в калитку стучится? — сказал он, спрыгивая с лавки. — И Белка урчит.

— Сидите, — набрасывая на плечи телогрейку, сказала мама и вышла.

Колька вскочил, выдернул старую варезку, которой было заткнуто отверстие в сломанной раме, и мы услышали мамин голос.

— Кто там? — спрашивала она.

— Мы беженцы. Пусти, дочка, ради Бога.

Голос был незнакомый, Мы все припали к окну.

— Каки ишо беженцы? В такую погоду все в избах сидят, — говорила мама.

— Теперь по белу свету люд всякий двинулся.

За воротами стоял высокий, как сухая лесина, старик с белой, как у Деда Мороза бородой, и держал за руку маленькую девочку. Стащив с головы помятую шляпу, стоял перед мамой в поклоне.

— Не бойся нас, — шипло говорил старик. — Мы с внучкой от войны бежим. Из-под Тулы мы.

— Поздно как-то, — тихо говорила мама, открывая дверь и поднимая на руки девочку. Та была как неживая, не подала звука. — Ну-ка, Шурка! На мои калоши да беги на почту. Позови Василия Степановича, он еще там.

Наш небольшой домик стоял на почтовом дворе. Раньше он служил жильем купеческой прислуге. Во время революции хозяин-купец, скупавший пушнину у инородцев, сбежал со своей семьей, оставив на произвол громадный дом со всем имуществом. В купеческом доме разместились сельская почта, а в домике с двумя аккуратными окошками на солнечную сторону и одним — на восточную жила наша семья.

Я глянула на двухэтажный купеческий дом. В кабинете дежурного горел свет.

— Беги! — торопила меня мама. — Как никак, Василий Степанович лучше меня во всем разбирается.

Василий Степанович недавно вернулся из армии. Говорили, будто при отправке на фронт он стал заговариваться, а как услышал взрывы снарядов, норвил выпрыгнуть из вагона. Только об это никто точно не знал, но досужие языки разносили о нем такое. Он бежал по двору, не застегнув полы солдатской шинели, запинался. Я еле попевала за ним.

Появившись на пороге избы, крикнул:

— Ваши документы! Предъявите ваши документы!

У дедушки дрогнули губы.

— Какие документы, сынок! Как есть — все сгорело. Только и успел Полинку схватить. В овраге с ней неделю прятались. А где остальные — не знаю. У нас ведь под Тулой бои шли страшные.

— Тогда в милицию, — будто не слыша дедушкиных слов, резко говорил Василий Степанович.

— Какая милиция, — возмутилась мама. — Видишь, какая непогодь, снежок повалил, они еле на ногах стоят. Места на полу всем хватит. Пусть побудут до утра, а там видно будет.

— Ладно ли ты говоришь? Этакую малютку в милицию.

Я была рада, что она не побоялась возразить Василию Степановичу и даже, махнув в его сторону рукой, сказала: “Пододвинь старику табуретку, не видишь — рухнет сейчас”.

Василию Степановичу не понравились мамины слова, он посмотрел ей прямо в глаза и изрек:

— Не рискуй, Татьяна. У самой четверо, — и круто повернувшись, в сердцах хлопнув дверью, ушел.

Утром дедушка не мог подняться. Мама позвала фельдшерицу. Она осмотрела его и шепотом сказала:

— В больницу надо. Полная дистрофия. Того и гляди помрёт.

Приехала больничная повозка, дедушку увезли.

Первые дни Полинка жила у нас, как птичка в неволе: от каждого скрипа и стука вздрагивала. Жалась в угол, жмурила глаза и плакала беззвучно... По ночам громко кричала, вскакивала. Мама, на зависть нам, брала её к себе, гладила по голове, прижимала, и она снова засыпала.

Однажды утром наш Юрка нечаянно сел в ведро с коровьим пойлом. Все над ним громко засмеялись, а Полинка завизжала так беззаботно и весело, что все обернулись. Глазки у Полины были черненькие, реснички густые, бровки широконые.

Юрка стоял в мокрых штанах и плакал от обиды.

— Зуб-то у тебя скоро выпадет. На ниточке болтается. Беглянка! — крикнул он Полинке.

— Про какой еще зуб ты говоришь?.. Я тебе покажу “беглянка”. Я тебе покажу! — рассердилась мама, стащила с Юрки штаны и шлепала ими по голой заднице. — Сиди на печке беспшанный, пока высохнут, или Шуркины надевай...

— Не буду надевать девичьи! — ревел он, и это было для всех удивительным: наш Юрка никогда не разбирал, во что одеваться. Он накидывал на себя все, что попадало под руку... Его даже прозвали Машей, потому что все зимы у него не было шапки, и мама повязывала ему вокруг головы свою шаль. Юрка заревел, мама сидела на табуретке, обхватив голову руками.

Дома сразу стало неуютно и холодно.

По сравнению с другими мы жили по-божески. От нашей черномастной коровы Мотьки по утрам и вечерам мама приносила в подойнике парное молоко с воздушной запашистой пеной. Еще до прихода мамы из хлева мы толклись возле стола и слушали нетерпеливое мяуканье кота Буски. Он, подняв хвост трубой, кружил возле наших ног, сверкал большими блестящими глазами.

Теперь первую кружку мама наливала Полинке и все приговаривала: “Пора ведь Мотьке отдых давать, Пора ее запустать”.

Нам были непонятны эти слова. Но когда вечером мама пришла с подойником, в котором было несколько капелек молока, сразу стало невесело. Правда, Колька храбрился. У Голдобинских нет коровы — не помирают. Генка говорит:

— Без молока жить можно, а вот без хлеба долго не протянешь.

— Грамотей ты, грамотей, — говорила мама, наливая Полинке полстакана молока.

— Вот ей как раз! Ее надо отпаивать, — упершись рукой о подбородок, говорил он. — Полинка маленькая.

Но Колька говорил не свое. Он больше всех любил молоко, не замечал, как облизывал губы, глядя, как Полинка пьет, и я слышала, как у него урчало в животе.

— А вона, к нам Василий Степанович вышагивает. Кто его речи выслушивать станет? — взглянув в окно, сказал Колька и заскочил на печку, зная, что ему попадет за такие слова.

Но ничего не поделать — все соседки, приходившие к маме, не обращая внимания на нас, рассказывали про Василия Степановича разные небывлицы. Только вчера к нам прибежала райповская продавщица и жаловалась маме, что Василий Степанович вытребовал у неё жалобную книгу: почему, она, продавщица, отвешивала хлеба хоть и по карточкам, но с походом, и даже сверху лишнюю корочку положила Есаульчихе.

— А когда я ему свесила с прибавкой, он вообще сдурел! Так меня совестью принародно! Орал, что я народ объегориваю! Ну до того поперечный человек: всё ему не так, всё ему не этак! Фасонит в солдатской-то шинели... Но тут его дед Бородин осадил, сказал громко так, при всех — брось, Василий Степанович на баб постоянно кричать да напраслину наговаривать. У них и так хлопот полон рот. Он и умолк.

Всплакнув немножко, продавщица захохотала и давай опять рассказывать маме про Василия Степановича, что в избе у него черт ногу своротит. Возле печки — сажки на вершок, на кровати не постель, а гайно гайном. Кружки да чашки в руки взять нельзя, и от мышей отбою нету. Сказывают, он сам боится их. Заберётся на кровать и швыряет в них что попадет под руку.

— Мелешь чё попало, — остановила её мама.

А та будто не слышала. — А вечерами, чтобы мышей разогнать, начинает маршировать по избе — только стукоток по половицам, а он себе командует: “Ать-два! Ать-два!” А еще какую-нибудь песню затянет. Вчерась: “По долинам и по взгорьям” пел, а днями “Соловей-соловей пташечка”. Поет, да еще пошвыстывает.

— Ты почему знаешь?

— Из первых рук, — сказала продавщица и собралась уходить, но остановилась. — Ты бы, Татьяна, поговорила с ним насчет Люмки. Это она все про него сказывала. Ей и изба его нравится. Она бы избиходила его на заглядение, а так совсем свихнется. Чего бы ему нос воротить! Не война бы, так с нами на одной версте не стоял. А теперь какой никакой — а мужичишко.

У Кольки при таких разговорах всегда были ушки на макушке, и, наслушавшись их, он говорил что попало.

— Явился не запылится! — крикнул он с печки и захохотал, когда, приоткрыв скрипучую дверь, Василий Степанович вежливо поклонился маме.

— Это плохое воспитание, Татьяна Сергеевна! Одним словом — безотцовщина, — покачал головой Василий Степанович. Мама пригрозила Кольке.

— Ну не сердись, Татьяна Сергеевна. Не сердись. Шел с самыми радужными мыслями. Поговорить о том, о сем.

Мама стала рассказывать про дедушку, увезенного в больницу, про Полинку, которую держала на руках.

— Тебе бы, Татьяна Сергеевна только все время возражать, со мной ни в чем не соглашаешься. Вот и про этих, — кивнул он головой в сторону Полинки, — говорено было: надо их куда-нибудь в казенное место отправить, а ты по-своему. Мало своих?

— Ну че ты мелешь? И как язык поворачивается? Сам недавно, какую лекцию бабам читал? Сказывал все про людскую доброту, про бедствия и страдания людей. В пример говорил про какую-то семью, где восемнадцать чужих ребятшек пригрето. А мне в укор ставишь. Или война не для всех?!

— Ты, Татьяна, говори да не заговаривайся. Я тебе не позволю с собой так разговаривать. Ты на то не имеешь права. Я участник войны. На моей стороне закон.

— А я солдатка! На моей стороне еще больше закона, — вскрикнула мама, махнув перед лицом холщевым полотенцем, которое всегда было у нее в руках. Василий Степанович вытаращил глаза, вскочил с табуретки...

Как раз в это время Колька визгливо, сколько было мочи, закричал: “Хуна-хуна вернулся! Хуна-хуна вернулся!”

Мы все, забыв про опасность разбить стекло, забарабанили в окно. Хуна-хуна ответил нам, приподнимая на голове большую, как воронье гнездо, старую заячью шапку, помахал рукой. Мы как по команде бросились искать свою одежку, перепутанные возле порога стоптанные обувки.

— Невидадь какая! Дровокол во дворе появился! — с раздражением говорил маме Василий Степанович, застегивая шинель.

По двору расхаживал дровокол Гоша, по прозвищу Хуна-хуна. Все лето его не было в селе. Он косил сено для почтовых лошадей, жил на покосе. Без него в нашем дворе было сиротливо, забегали парни с соседних улиц и гоняли вонючего таловского козла, которого мы боялись. А когда был во дворе дровокол Гоша, мы жили под его крепкой защитой.

— Куда он денется, ваш Хуна-хуна? — говорила нам вдогонку мама.

Гоша уже сидел на большом чурбане, на котором всегда колот дрова. От его длинного малахая пахло лесом, дымом, комарами.

Он по-видимому простыл на покосе, дышал шумно, поминутно облизывал нижнюю губу. И руки у него были горячими, когда он печально гладил нас по головам и хрипло выговаривал: “За лето выросли. Совсем большими стали”. Нам было невдомек, как трепетало от радости Гошино сердце и как крепился он не показать нам слез, которые щекотали его покрасневшие веки.

В селе старые люди знали, что Гоша подкидыш, что прибрала его и пригрела вдова Федора Сушкина Федора.

Как рассказывала беззубая старуха Паномариха, однажды ранней весной, пошла Федора в сараюшку за дровами и услышала какой-то писк. Подумала — весенние коты разыгрались. Уже за дверную скобку взялась, а вдогонку такой же звук. Пошла она за сараюшку и ужаснулась: между двумя бревнами лежал сверток, перевязанный веревкой, а из него выставлялись маленькие ножки с красными пятнами.

Федора схватила сверток и бегом в избу. У самой все внутри колотится. Развернула лохмотья, а там мальчонка ножками сучит, рот разевает, по-видимому титьку ищет, а голосу уже нет.

Нажевала хлебного мякиша, завязала в тряпочку, обмакнула в теплую водицу, стала подносить тюрю ко рту, а у него на верхней губе расщелина. “Заячья губа! Беденький! — всплеснула Федора руками. А мальчонка сосет тюрю, язычком посвистывает. Скоро на лбу у него потные капельки высыпали. Глядела на него Федора, слезы глотала, себя уговаривала: “Всеякие изъяны у людей бывают”. Заметила скобу бархатный лоскуток, в подпол бросила.

Скоро весть по селу разнеслась. Забегали соседки посмотреть на найденныша. Разные советы Федоре давали и все допытывались: не было ли при найденныше какого приданого. Федора молчала.

Бабы судачили:

— Что это за люди? Мало, что дитя осиротили, да и на жизнь ни гроша не положили. — Мир-то теперь весь пошатнулся. У людей ни стыда, ни совести не стало.

— А то будто раньше такого не было? Сказывают, наш приказчик Осип Петрович тоже подкидышем был,

— Так с ним вексель на целную тысячу рядышком лежал. Старик-то, Петр Силантьевич Шарапов, Царство ему небесное, — перекрестилась Паномариха, — до последней копейки на Осипа расходовал. Одевал, как родных сыновей, выучил, дом ему какой выстроил. В таком почете по сей день живет.

— Кто хоть его мать? — в задумчивости проговорила Паномариха. — Всех в уме перебрала. Разве какая чернявка из Бурмантовского скита?

— Не слушай никого, Федора, оставляй, — посоветовала соседка Маруся. — Как никак рядом завсегда будет живая душа. Он подле тебя греться будет, ты подле него. А там Бог сам дорогу укажет.

Скоро прошли все суды-пересуды. Побежало время, оставляя год за годом. Имя подкидышу Георгий дали. Рос он крепышом и ладным. Только все заячья губа портила. Пустяк вроде, а поди ты! Этот изъян всем в глаза лез. Немало пролила Федора из-за этого горьких слез. Не раз говорила: “Кабы можно было отдать свою губу, глазом бы не моргнула”.

На Федорино счастье по соседству жил безногий гармонист Прошка. Гоша, как стал подрастать, каждый день прибежал к нему, садился на пол и глядел, как ловко бегают пальцы гармониста по белыми пуговкам. Однажды Прошка дал ему в руки свою гармонь. Гоша сел, у самого из-за гармошки только кудрявый чубчик выглядывает, и заиграл!

Прошка собственным ушам не поверил — как складно у Гоши все получалось. Заиграл на удивление всему селу. “Талант у него. В столицу бы ему. Многих бы за пояс заткнул твой Гоша,” — говорил Прошка Федоре, а сам на все праздники стал брать мальчонку с собой. Благодать стала Прошке: сам нагуляется, напьется, а Гоша вместо него весь вечер на гармошке наяривает, да сквозь рассеченную губу подпевает в такт: “Хуна-хуна — Хуна-хуна! Хуна-хуна-хуна!”. В селе люди приметливые, закрепили за ним кликуху — не какую-нибудь обидную, а просто стали звать Хуна-хуна, и все тут.

Покою Гоше не стало: где какое событие: крестины ли, именины или свадьбы, Гоша — первый гость.

А вскоре в его жизни черный день настал. Померла Федора. Только и успела Гоше сказать: — У тебя, сынок, на черный день золотишко есть. Никому не сказывай, а как нужда придет, найдешь в подполье, под пятым венцом...

— Легла и глаза закрыла, только слезинка из глаз выкатилась, — вспоминал он.

Опустело в избе. Дня три Гоша на крючке сидел — никого к себе не пускал, только голос подавал, что живой. Но скоро все про Гошино сиротство забыли.

С тех пор Гоша никогда в руки гармошку не брал, глядел и будто видел ее впервые. Видно, Федорина смерть унесла с собой его песню.

По совету Паномарихи взяли его на работу дровоколом на почту.

Мы с рождения каждый день видели его во дворе, привыкли к нему и даже не представляли почтовый двор без Гоши. Он умел нам рассказывать сказки и разные небывицы, любил смотреть, как мы играем и дурачимся, и даже иногда громко смеялся, прикрывая ладонью “заячью губу”. Мы любили его и не замечали в нем никакого изъяна.

А тут война грянула. Вскорости наших отцов забрали на войну. Забрали всех самолучших, здоровых мужиков. Остались бабы с оравами ребятишек. Гоша себе в укор ставил, что на войну его не брали: “По мне плакать некому было”, — рассуждал он.

Но от осиротевших баб ему не было никакого покоя. Зная Гошину безотказность, просили починить коромысло, насадить топор, сметать сено, поправить на крыльчке доски, из печи вывалившийся кирпич вытащить. А однажды Грунька Маслова с ремнем пришла.

— Отстегай, Гоша, ремнем моего Федьку. У меня в руках совсем силы нет. Зачну его хлестать, а он только похохатывает. Ему рука мужская нужна. Обжег бы ты его раз-другой.

— Не умею, — сказал Гоша и вернул Груньке ремень...

Чем дальше шла война, тем с каждым днем становилось жить тяжелее.

В магазине все продукты с полок будто корова языком слизала, а в хриплом радио все про жестокие бои говорили. А вскорости Матрене Лаптевой похоронка пришла. Оплакивали ее сына Петьку всем селом, а следом такая же бумажка на Петра Вотинава... Все со страхом смотрели на почтальоншу Шабуниху, к чьим воротам она подходила с боязнью...

Однажды под вечер, почтовая счетоводиха Настасья Насырова между прочим остановила и спросила Гошу:

— У тебя, Гоша, из теплых вещей ведь ничего нет, чтобы на фронт послать.

— Нету, — сконфуженно ответил дровокол.

— Может, деньги из зарплаты отчислять согласишься? Может, облигации есть? Наше село деньги на танк собирает.

— Делай, как надо.

Пришел Гоша домой озабоченный и тут про золотники вспомнил, будто сама Федора ему в эти минуты в ухо шепнула: — Ищи под пятым венцом.

Засветил Гоша свечку, полез в подпол, отсчитал пять венцов, видит: в дальнем углу мох торчит. Вытащил мох, достал березовую кору, а в ней бархатный узелок. Раскрыл, а в нем золотые давнишней чеканки.

Он в них не разбирался. Истинной цены не знал. Положив бархатный узелок в старую шапку с оторванным ухом, пошел к счетоводихе и высыпал перед ней золотые.

Счетоводиха побледнела. Уставила на Гошу немигающие глаза.

— Откуда? — еле слышно выдавила, а у самой слезы из глаз покатались.

— Из подпола достал. Маленька, как умирала, наказывала: в трудный час достать эти золотые.

— Сколько тут?

— Пятьдесят — один к одному, — ответил Гоша.

— Отдай мне один, Гоша, — прижав указательным пальцем один золотой, молила счетоводиха.

— Нет, — покачал головой Гоша. — Все на войну отдам. Пуцай танк строят.

— Отдай, Гоша. На что он тебе? Сколько лет лежали. Отдай, голубчик. Мои ребята тебе каждый день молоко таскать будут.

— Нет, — ответил дровокол.

— С таким капиталом тебя в тюрьму засадят. Спросят: где столько взял? Ходишь в ремках, притворяешься нищим, а у самого такой капитал. А я вот у тебя их принять не могу! — Анастасия вся побледнела. Сидит, кусает дрожащие губы: “Мне бы эти деньги! Я бы нашла им дорогу, знала бы, куда их девать. На золотоскупке такие шубы продают! Купила бы шаль с кистями, боты фетровые. Корову бы на Талой у бабки Тюленихи купила. Она за удой по ведру молока дает. Сепаратор бы купила. Бог ты мой! Две бы лошади взяла, и чтоб одна была выездная. В гости в Надеждинский завод съездила бы”. Так она рассуждала, слизывая с губ слезы, потом еле поднялась с табуретки, грозно сказала:

— Пошли в милицию!

— Пойдем, — сгребая золотники в шапку, ответил Гоша.

Дежурный рядовой Столяров тоже опешил, позвал к начальнику. — Настоящие ли? — и стал звонить в область, не зная, как поступить с золотниками.

Тут милиционер Столяров про купеческого приказчика вспомнил, который всю жизнь с золотом возился, знает ему цену.

Послали за старым приказчиком.

Совсем дряхлый Осип Петрович вошел в милицию с тростью, в неизменном вельветовом пиджаке, в белых фетровых валенках. Возле порога снял шапку, вымолвил: — Мое почтение, люди добрые! — Хотел еще что-то сказать, но, увидев на столе бархатный доскуток, поперхнулся, машинально полез в карман за очками. — Великое богатство! — еле выдохнул. — Великое богатство! Откуда выискался такой кладезь? — Обвел всех взглядом, сел на табуретку, и не дотрагиваясь до золотников, заявил:

— Эти золотые из Бурмантовского скита и принадлежали они игуменье Серафиме. — Осип Петрович вынул из кармана носовой платок, долго обтирал им вспотевший лоб.

— Сколько тебе лет-то, Гоша? — не поднимая глаз, спросил бывший приказчик.

— Однако, тридцать седьмой.

— Так и есть, золотые из Бурмантовского скита. — Осип Петрович окинул взглядом неуклюжую фигуру дровокола, стоявшего в длиннополом полушубке, стоптанных валенках, маломальскую шапку.

— Ох, и дура же Федора, всю-то жизнь прожила в такой нищете! Золотники-то высокой пробы! — промолвил он и заторопился уйти.

— Дуракам завсегда везет, — фыркнула носом счетоводиха. — По золоту ходил, а у самого в чем душа держится.

Скоро из области пришла телеграмма. В ней вытребовали фамилию и имя человека, сдавшего государству золотой клад. Телеграфистка Елизавета Лопатина передала по буквам: Георгий Сушкин.

Немного погодя в село пришла благодарственная телеграмма от правительства и сообщение, что на средства, сданные жителем села Сосновка Георгием Сушкиным, построен танк с присвоением имени “Георгий Сушкин”, и прямо с завода эта грозная машина отправлена на передовую линию фронта.

Так распорядился Гоша своим тайным вкладом.

Если бы не война, мы, быть может, не так привязались к Гоше. А теперь, когда все отцы ушли на войну, мы не могли представить жизни без него.

Увидев его во дворе, нас нельзя было остановить. Мы бежали к нему, толкались возле него, а он садился на чурбан, на котором колот дрова, и тихо разговаривал с нами, спрашивал, как мы живем-поживаем и какие у кого новости, кто чем матерям помогал.

Гоша хвалил нас и сам рассказывал о покосе, о высоких травах, которые косил по утрам, о птицах, гнездившихся в борах, о несметных полчищах комаров, от которых нету житья, о лошадях, вволю насытившихся сочными травами, и еще много разных интересных смешных историй.

Узнав, что Колька ездил в лес по дрова и сам запрягал лошадь — похвалил, сказал, что это самая мужицкая работа.

Нам было удивительно, как это Гоша узнавал про нас все наперед. Его и в селе не было. Колька от Гошиной похвалы стал насвистывать и носиться по двору.

И вдруг Гоша заулыбался, заметив прижавшуюся ко мне Полинку.

— Ну-ка, ну-ка, кто это в нашем дворе новенькая? Это чья такая малюсенькая девочка к нам в гости пришла? — сказал и протянул к ней свою большую, корявую ладонь. Полинка испугалась, уткнула лицо мне в подол.

— Это же Гоша! Полинка, ты чего, это же Гоша! — закричал Юрка. — Она у нас еще дикая, она беженка. От войны с дедушкой убежали! Дедушка отошал — в больнице лежит, а она у нас. Она, наверное, есть хочет, потому и хнычет. У нас Мотыка не доится, только картошка одна.

Гоша поднялся с чурбана, пошарил в карманах, вытащил горсть сушеной малины.

— На-ко тебе, маленькая девочка. — Он хотел погладить ее по голове, но Полинка совсем разревелась.

— Да он только с виду такой. Не бойся. Он самый добрый, — уговаривала я Полинку. Гоша выгреб из карманов сушеные ягоды, насыпал в маленькую ручку Полины, раздал остальное всем и, прихрамывая, пошел на почту. Возле порога остановился:

— У меня еще есть работа, — сказал. — Завтра пойду в пекарню дрова колоть.

Мы опешили; слово “пекарня” действовало на нас магически: пробегая мимо забора пекарни, мы всегда останавливались, чтобы подышать вкусным хлебным запахом, и завидовали грузчикам хлебозовок, развозивших хлеб для всего села.

Расторопная пекарка Таська, которую последнее время стали навеличивать Таисией Лукьяновной, твердила одно — чтобы кроме Гоши в пекарню никого не посылали! “Он крошки без спроса не возьмет, а к другим у меня веры нету! На почте хоть кому дрова колоть можно, а в пекарне только Гоше. Поработает, пока у Сеньки рука поправится”.

С дровоколом Сенькой Таисия работала согласно и имела свой интерес. Наловчившись после выпечки хлеба ставить в корчагу бражку, она пристрастилась дровокола к мутной парной водице. Он был радешенек: хмелел, как кот мурлыкал, говорил Таисии хорошие слова, потом уходил за печку прикурнуть. Ей только того и надо было. Без свидетеля она хозяйничала: успевала насыпать в маленькие мешочки муки и привязывать их тоненькими шнурками вокруг тела, а после шла будить Сеньку. Он вскакивал как очумелый и убежал колоть дрова... Во хмелю, видать, и пальцы отсек. А без



колотых дров в пекарне никак нельзя. Вот и стала она просить: поставить ей дровоколом Гошу...

Гоша от дел отказываться не умел. Раз надо — так надо.

Таисия встретила Гошу приветливо, кружила перед ним, и только сел он на табуретку, прямо с пода бросила на лавку румяную лепешку.

— Ешь! — приказала, — пока она свеженькая, тепленькая. Поди, давно такого не едал?

У Гоши в глазах потемнело, во рту горечь скопилась.

— Ешь, не бойся.

Гоша отломил край лепешки. Голова кругом пошла.

— Вот и ладно. Вот и хорошо, — подбадривала его Таисия. — Голод-то, Гоша, не тетка. Он хоть какого гордого под себя подомнет. Ничё, Гоша, не пропадем. Ты, смотрю, совсем отошал. Дрова колоть — силу надо. Помаши-ка колуном — руки у всякого отвялятся.

Гоша не дослушал Таисиных слов, стремглав вышел из пекарни. Пекарка удивилась, подбежав к окну и, немного погодя, приоткрыла дверь. “Экий приткий! Посмотрю на сколько тебя хватит этак размахивать колуном! — подумала Таисия. А Гоша все колет и колет. Уже солнце на закат покатило, а он все колет и колет. — Сенька, тот только и ждал, когда я дверь приоткрою, а этот блаженный!”

Таисия не вытерпела, закричала:

— Ладно. Хватит на сегодня!

А Гоша будто не слышит.

— Ты че, глухой? Зовешь — не дозовешься! — выговаривала она, когда Гоша снял шапку, перешагнул через порог. — Сколько тебя звать надо? — пробурчала недовольная Таисия, пошла за печку и вышла оттуда с ковшом браги.

— На, отведай. Нароботался, — сказала, подмигнув правым глазом.

Гоша отодвинул ковш.

— Да ты чё? — закричала Таисия, отскочив от стола. — Да вышей, дурачок, разгони кровь. В тебе ведь она, как в болоте вода застойная. Кровь-то разгонять надо. Да бери ты, не куражься.

— Не буду, — пробурчал Гоша.

— Ты чё?! Ненормальный совсем? — заорала на него пекарка. — Да голову наотрез даю. У каждого мужика губа бы затряслась от радости, а он: не буду! — скривила она губы. Гоша распахнул дверь и вышел во двор.

“Во, чучело огородное. И родятся же такие непутевые. Золотые сдал все до единого, ну хотя бы для смеха один оставил. Да за такой капитал, считай, каждая баба в приживалки бы к нему пошла. А у него все между пальцев утекло. Кто из путных мужиков откажется от хмельной бражки? В ней пена играет, а он: не хочу, не буду! — Таисья сделала несколько глотков из ковша, а остаток поставила на стол. — Ну, не быть мне Таськой, если его не упою! Вздумал передо мной куражиться, — распекала себя пекарка, оскорбленная выходкой дровокола. — Как заведенный, бухает и бухает, — прислушивалась она к стуку топора. — Откуда силы берёт? Сенька столько дров лишь за неделю накальвал, — ворчала, поглядывая в окно.

— Да заходи ты, блаженный! — во весь голос снова заорала она, приоткрывая дверь. — Упадешь возле поленницы-то. И домой пора!

Гоша долго стряхивал с пимов опилки, на Таисию не глядел.

— На, бери лепешку, не ворована, от припеку. Дрова ты хорошо колешь, — говорила она. — И хлеб хорошо пропёкся. Дрова дружно горели, ни одной головешки не осталось, — ласково жужжала она за спиной Гоши, закрывая на замок двери пекарни...

В тот день, когда Гоша ушел в пекарню, мы ждали его с нетерпением. Нам и в голову не приходило, что Гоша мог пройти мимо нашего двора. Не сговариваясь, мы попеременно выбегали на улицу, лезли на крыши, прислушивались к стуку топора. Гошины удары мы отличали от всех.

— Все колет и колет! — сообщал нам сидевший на крыше дома Колька.

Потом полез на крышу Юрка. Мама стала ругаться, что мы выстудим избу, бегая на улицу взад-вперёд. Мне было стыдно залезать на крышу, при-

шлось найти заделье: сбегать к подружке за учебником истории, который был один на весь класс. Выбежав, поднялась по лестнице, спросила Кольку:

— Кошет?

— Перестал.

Все заторопились встретить Гошу.

Во дворе, узнав, что Гоша ушел в пекарню колоть дрова, появились соседские ребята. Сашка Мартынов важно расхаживал по почтовскому двору, насвистывал, гонялся за щенком, поглядывал на дорогу. К нему подбежала сестренка. Мы ревновали других ребят к Гоше. Колька не выдержал, закричал на Сашку, что им здесь нечего делать и что от постоянного шума и беготни во дворе у нашей мамы болит голова, а сам снова полез на крышу.

На улице выюжило. Белка давно забралась в конуру, свернувшись калачиком.

Со скрипом и скрежетом распахнулись ворота, во двор входили почтовые лошади. Колька Субботин в большом отцовском полушубке вел Серко под уздцы. Он вышагивал важно, будто не видел нас, громко посвистывал.

Я побежала на сеновал кинуть Мотьке на ночь мелкого сена. Пахло соломенной подстилкой, терпким коровьим потом. Корова дышала шумно, хрустко жевала жвачку. Я села на сено и стала глядеть на звёздное небо, отыскивать, как говорилось у старших девчонок, свою звезду... Я уже отыскала одну возле гор, старалась не выпускать ее из виду, но в это время услышала:

— Гоша идёт!

Я прыгнула с сеновала, забежала в избу, взяла за руку Полинку, укутанную в шаль, в мамины валенки, в которых, сделав два — три шага, она взмахиwała руками и падала в выпавший накануне снежок.

— Айда, поторопимся. Может, Гоша нам хлебушка принес! — Полинка плакала. Я попыталась взять ее на руки, но чуть сама не упала в снег.

— Давай поторопимся, Полинка. Давай поскорее. Вон ребята подле него как воробы кружат.

Гоша, еле переставляя ноги, шёл по двору. Ребята гурьбой бежали за ним.

— Устал? — спросил Колька. — Мы тут на почте за тебя дрова кололи.

— Вижу, — обтирая снятой с головы шапкой лицо, сказал Гоша.

Он сел на чурбан, как провинившийся, низко опустил голову и закашлялся...

— Простудишься, Гоша. Надень шапку, — деловито сказала я.

— А Сенька, пекарский дровокол, всегда по цельной буханке хлеба приносил, — не выдержав молчания Гоши, сказал Колька.

— Иди сюда, маленькая девочка! — ласково позвал дровокол, заметив Полинку. — Иди, маленькая. Не бойся. — Полинка вдруг пошла к Гоше, встала возле его колен. Он потряс карманы, нашёл несколько сушёных ягодок, подал ей. У меня от жалостливого Гошиного голоса задрожали губы. Я вообще часто плакала, как мама говорила обо мне, по делу и без дела.

Все ждали, что, пошарив по карманам, дровокол что-нибудь отыщет в них, но поняв, что у Гоши в карманах пусто, не выдержав переживаний, Колька опрометью выбежал со двора, а двое соседских ребят тонюсенько заголосили.

Трудно было представить, как переживал Гоша, корил себя, что отказался от Таисиной лепёшки.

На следующий день мы опять прислушивались к ударам топора, хотя уже и не так нетерпеливо ждали возвращения Гоши, которого пекарка принимала своим настойчивым желанием заставить испить парной бражки.

— Не проси, не возьму в рот твоей отравы, а от лепёшки не откажусь, — сказал почти шепотом.

Таисия искренне обрадовалась, защebetала перед дровоколом:

— Чё куражиться-то? Больше брюха не съешь. Ведь у самого-то еле-еле душа в теле.

Гоша молчал. Запах душистых лепешек кружил голову. Он откусил лепёшку с одного краю.

— Да ешь, ешь ты досыта. Кто обеднеет от нескольких лепёшек? Так ты ведь заработал. Ну-ка, помаше этак топором.

Гоша повеселел, когда положил лепешку за пазуху.

В этот раз он заходил во двор повеселевший, но ребята уже не толпились возле чурбана, на который Гоша садился отдохнуть, а всё бегали по двору, барахтались в снегу, посвистывали.

Заметив стоящую возле санок Полинку, Гоша поманил её рукой. Она, обернувшись по сторонам, сама подошла к дровоколу.

— Тебя-то сейчас я хлебушком угощу. Ты ведь у нас гостья, дальняя гостья, — говорил он и, сунув руку под рубаху, отломил краешек.

— Да не торопись, во рту поддержки хлебушек, чтобы он свой вкус отдал.

Полинка робко протянула руку.

— Бери, бери, Полинка! — торопил её Колька, выросший будто из-под земли, облизывая губы.

— Бери скорее. Пока тёплая. — улыбнулся Гоша. — Какие у тебя ручки-то маленькие.

— У неё все маленькое, — сказал Юрка. — И глазки, и ручки, и ножки, и вся она маленькая. — Гоша разламывал лепешку и, почти не глядя, подавал в каждую протянутую руку. Мне показалось, что у него самого трясутся руки от голода.

— Какая вкуснятина! — говорил Колька, закатив глаза. — Так бы привязал этот кусочек к носу и нюхал!

Ребята враз сбежались к чурбану, слетелись, как весенние воробушки к зерну.

Раздав лепешку, дровокол поднялся с чурбана и молчком пошел на почту. Ребята кричали ему вслед: “Спасибо”.

— Сам-то Гоша попробовал? — спросила мама, когда мы рассказали о Гоше, угостившем нас тёплой лепешкой. — Он ведь еле ноги переставляет. И таких людей Господу на землю посылать надо, — вздохнула она.

Утром мы снова прислушивались к стуку Гошиного топора, опять считали удары и выбегали по очереди на дорогу, ждали его.

Вечером мама сказала, что Сенька, пекарский дровокол, поправился, а Таисия жаловалась всем, что Гоша таскал из пекарни даже сырые лепёшки, лепил тесто на голое тело и кормил ими всех ребят в почтовом дворе.

— А этих ребят там, как саранчи. Всех не накормишь, — жаловалась она.

Скоро наш Гоша захворал, его, как Полинкиного дедушку, лечили от истощения. Мы бегали под окнами больницы, но нас не пускали, говорили, отделение заразное. Умер Гоша в середине зимы. Наш почтовый двор опустел, а мы осиротели.